

# ПО ГОРЯЧЕМУ СНЕГУ

ВЗГЛЯД В БИОГРАФИЮ

Олег Михайлов

При имени Юрия Бондарева в памяти тотчас возникают герои его книг. Запечатленные книстью большого художника, в слове творческой фантазии и жизненного опыта, они воспринимаются в сознании как категория живых, реально существовавших людей — капитан-артиллерист Борис Ермаков («Батальоны просят огня»), командир батареи Дмитрий Новиков («Последние залпы»), демобилизованный офицер-москвич Сергей Вохминцев («Тишина»), бывший командир роты, а после войны инструктор автоклуба Алексей Греков («Рождественники»), лейтенант Кузнецов («Горячий снег»), наконец, наши современники — писатель Никитин («Берег») и живописец Васильев («Выбор»). Все это образы-глыбы, впамятные в материк нашей советской культуры, ее запечатленный в слове величественный мемориал. Бондарев уникален. Как может быть уникален очень крупный и глубоко национальный художник, составивший созданными им книгами целую эпоху в отечественной литературе.

Взлет Бондарева был неожиданным и стремительным.

В короткий срок, с 1957 по 1960 год, были опубликованы повести «Батальоны просят огня», «Последние залпы» и роман «Тишина» — произведения, которые по сути выводили на новые пути литературу послевоенной поры. Можно даже сказать о существовании феномена Бондарева, приобретшего в движении от «Тишины» к «Горячему снегу» мировую известность. Проследившая далее конфликты его нынешних героев-интеллигентов (романы «Берег» и «Выбор»), обнаруживаешь некую логическую закономерность. Если разобраться, это продолжение того же звездобразующего процесса, но на более позднем этапе, когда раскаленный газовый шар, постепенно остывая и сжимаясь, обнажил невиданный рельеф, по которому страшно ступать, словно по горячему снегу, — уже от воспоминаний о том, как это начиналось.

Все начиналось под Сталинградом, о защитниках которого можно повторить слова древнего летописца, охарактеризовавшего легендарного Евпатия Коловрата и его дружину: «Сии бо люди крилати и не имеющие смерти...» Отсюда Юрий Бондарев, в скромном и гордом сержантском звании, в должности командира противотанкового орудия, прошел около его колеса тысячевестерный, иссеченным свином и железом путем до Германии. Прошел на обмороженных в Сталинградской битве ступнях, у которых родительская подошва развалилась навсегда мертвой бесчувственной коркой. Воистину — по горячему снегу!

И подросток среди этого поколения и навсегда запомнил обжигающие детские сердце рассказы возвращавшихся с боевых полей офицеров-воспитателей и сыновей полков. Запомнил близость жарко дышащего фронта, Курск осенью сорок третьего года, его улицы в руинах и баррикадах. Запомнил мелькающих саперов с миноискателями; текущий мимо окон нашего Суворовского училища бесконечный скорбный cortege — шло перерахоронение тысяч расстрелянных фашистами мирных курян; наконец, литые строки приказов Верховного Главнокомандующего. Но разве лишь благодаря этой памяти

так больно и остро задевает душу «военная» проза Бондарева? Разве лишь оттого потрясает трагическая судьба батальонов Бульбанюка и Максимова, вставших на пути танковой лавины врага, или современная сага о капитане Новикове, рыцаре без страха и упрека, гибнущем в глазах у любимого? Конечно, нет. Всегда будет волновать предельная правда о человеке на войне, запечатлены ли картины давнего прошлого в «Севастьяпольских рассказах» Льва Толстого или близкой нам Великой Отечественной в «Судьбе человека» Шолохова.

Все состоялось в молодом Бондареве. Полной горстью зачерпнул он народное содержание жизни и в то же время был настолько оригинален, что излившие бдительные фариескритики закричали: «Зачем нам эти офицеры? Зачем нам эти сержанты?..» Время, однако, расставило все на свои места. Новое слово о войне, сказанное Юрием Бондаревым в повестях «Батальоны просят огня» и «Последние залпы», было и новым словом о человеке на войне — его психологии в момент крайней опасности, подвига, смерти. Это было слово о нравственном наполнении личности, не признающей компромиссных решений и предъявляющей к окружающим абсолютные требования. Замечу, что этот максимализм фронтовиков бондаревские герои перенесли и на разрешение конфликтов мирной жизни.

Новый поворот народного сознания как неодолимого раскрепощения жизни, возрождения жизни отразился всем своим глубинным смыслом в романе «Тишина», вышедшем в 1960 году и поднявшем целые пласты социально-нравственных проблем задолго до перепевов и вариаций на ту же тему. Как и повесть «Рождественники», роман отмечен остро-современным мышлением, гражданской активностью и смелостью вторжения в действительность. Торжество любви Вохминцева и Нины, Корабельникова и Аси — наперекор всем испытаниям и невзгодам — звучит мажорно и мощно, как гимн природе и человеческому в человеке на полотнах Пластова, пишущего примерно в эти же годы свою знаменитую «Весну». Весеннее, смелое, молодое начало, словно бурный поток, сметало человеческий сор и дрянь, открывая в бондаревских героях подлинное, до святости чистое, близкое идеалу.

В произведениях Юрия Бондарева господствует художественная стратегия, а не сиюминутная тактика. Проблемы, которые он поднимает, уходят далеко за горизонты видимого. Отсюда длительные перемены, которые подчас разделяли его романы. За этим кажущимся молчанием писателя таился всепоглощающий труд, который сам Бондарев назвал как-то «сладкой каторгой». «Не только Ева рождает нелегко, в муках рождает и Адам, ибо создание духовной ценности — книги — совсем не праздное удовольствие, не игра прихотливого воображения, не легкость иригового бурлеска, — сказал он. — Это акт великого каждодневного напряжения, медленная и одержимая — до последнего часа — исповедь человека о человеке... Какие бы должности ни занимал писатель, как бы ни был он обуравем честолюбием разного рода деятельности, писатель должен умирать не от административной усталости...»

Предельная требовательность художника обращена и внутрь, и вовне. Она понуждает писателя работать в атмосфере постоянного ощущения присутствия классики. Недаром в бондаревских книгах так явственны традиции Толстого и Достоевского — в обнажении жизненных ситуаций и в вечной проблеме выбора, встающего перед героями. А если говорить о его старших современниках, то сотоварищами, духовными ориентирами Юрия Бондарева были Шолохов и Леонов, роль которых лишь возрастала с расширением его художественного сознания. Когда в 1932 году Бондарев только пошел в школу, они уже были классиками, наперед определили магистраль нашей литературы. Именно у них учился он священной отношению к слову.

На пересечении классических традиций создавался «Горячий снег» — эпопея, сжатая в объем повести. Здесь — только на принципиально новом материале — воплощена та «мысль народная», которую, по его признанию, любил Лев Толстой, когда писал «Войну и мир». Отсюда изображение «героизма миллионное», пронизывающее всю толщу Красной Армии, которая предстает в романе как глубокая и полное выражение русского, советского характера, как воплощение нравственного императива советского народа. Именно в «Горячем снеге» проза Юрия Бондарева окончательно теряет ответ щеголеватости, лишается некоего желания писателя продемонстрировать свои изобразительные возможности. Он как бы осуществляет в художественной практике боевой принцип Суворова — сразу к цели, сближение, бой! Слова взрываются, страдают, плачут и муаются, словно живые люди. Нет техники, нет мастерства: есть текучая, живая, гипнотизирующая нас жизнь.

Человек — частица в бегущем гераклитовом потоке времени. Остановить эту вечно движущуюся реку только и можно с помощью волшебного заклинания искусства. И прежде всего белой магии Слова. По «Войне и миру» не изучишь Аустерлицкого сражения с точки зрения оперативного хода. Более того, Толстого упрекали историки в несоответствиях и фактических неточностях. Но осталось навсегда, как образ огромной емкости, небо Аустерлица, в которое глядит раненый Болконский. Такова сила художественного слова. У Бондарева в «Горячем снеге» слово стало документом, оно преобразует действительность в уже не подвластную тленности форму бытия. То самое русское слово, хранить которое завещал, обращаясь к нам, потомкам, Бунин:

Молчат гробницы, мумии и кости, —  
Лишь слову жизнь дана:

Из древней тьмы, на мировом погосте,  
Звучат лишь Письмена.

И нет у нас иного достоянья!  
Умейте же беречь

Хоть в меру сил, в дни злобы и страдания,  
Наш дар бессмертный — речь.

Бондаревское Слово — о вечном и о сегодняшнем. То как стихотворение в прозе — книга «Мгновения», то раздвигающее пространство до философского романа, оно объясняет нам нас самих, наше общество, перед которым вырастает множество непредугадываемых задач, с разладом, отходом от семьи, одиночеством, проблемой личного счастья и

поисками гармонии, возвращением в прошлое, в начало, не ушедшее из нас, наконец, с воспоминаниями о будущем. Мы отвыкли от экспериментов в литературе, которыми она была так богата от Достоевского до Леонова. В своих последних романах «Берег» и «Выбор» Юрий Бондарев выходит к рубежам интеллектуального романа, требующего от художника смелых поисков и неожиданных решений.

Среда, в которой живет писатель, постоянна. И тут остаться подлинным, не придумывая искусственно каких-то мучительных ситуаций, — значит быть самим собой. В Никитине и Васильеве — это понятие — мы угадываем черты, родственные другим ведущим героям Юрия Бондарева, прошедшим через испытание войной. Его интеллигент был там, в самом пекле, и там состоялся. Он нашел подтверждение своим идеалам среди тех артиллерийских сержантов и командиров, которые, смертью смерть поправ, отстояли нашу Родину. Здесь совершаемый подвиг еще резче оттеняется некоей неудобностью функции, идущей от сконфуженности русского человека, который выплывает в общем-то вынужденное, из-за крайностей обстоятельств, дело. Пример: народный рассказ сержанта Зыкина («Берег») о неожиданной встрече с немцем в разбитой квартире на Тиргартене. И вместе с тем дпящаяся биография главного героя знакомит нас с его сложным внутренним миром, богатством эмоциональной и духовной жизни, изощренным интеллектом. Писателя теперь особенно привлекает творческое начало в человеке. Под его пером оно раскрывается как высшая суть человека, его наиболее полное самовыражение.

Юрий Бондарев определил однажды жанр романа как «вымысел, вылепленный памятью из самой действительности». Он наполняет этим живым содержанием взрывчатые конфликты, рассматривая состояние отдельного человека в общечеловеческом космосе, в околосмысленных пространствах мысли и духа. Таково, скажем, вторичное пересечение линий судьбы Васильева и Рамзина («Выбор»), который теперь уже господин Рамзин, понуждающее нас размышлять о судьбе как осознании выбора. Рамзин не просто жертва слепых стихий, ведь в пучину их был брошен и Васильев, выполняющий на войне тот же невыполнимый приказ. Но из этой Ниагары имелся выход, хотя бы в смерть. Его Рамзин не нашел, и это тоже был выбор.

Последние романы Юрия Бондарева явились в ответ на запросы огромной, все более увеличивающейся прослойки нашей интеллигенции и обозначили новую веху в литературе. Замечательная проза наша последних лет — это огромный духовный капитал. Но мы с надеждой смотрим: а что будет дальше?.. Нравственно-философская проблематика бондаревского творчества дает нам, думаем, перспективу на одном из генеральных направлений советской литературы.

Известный художник-гуманист, творец новаторских, рассчитанных на долгую жизнь книг, подвижнически преданный классическому русскому слову, Юрий Бондарев пишет, живет, думает, убежденный, что будущее за человечеством.

МГНОВЕНИЯ

## Счастье

Муж бросил меня, и я осталась с тремя детьми, их воспитывали мои отец и мать, у которых было еще четверо — мои младшие братья и сестры.

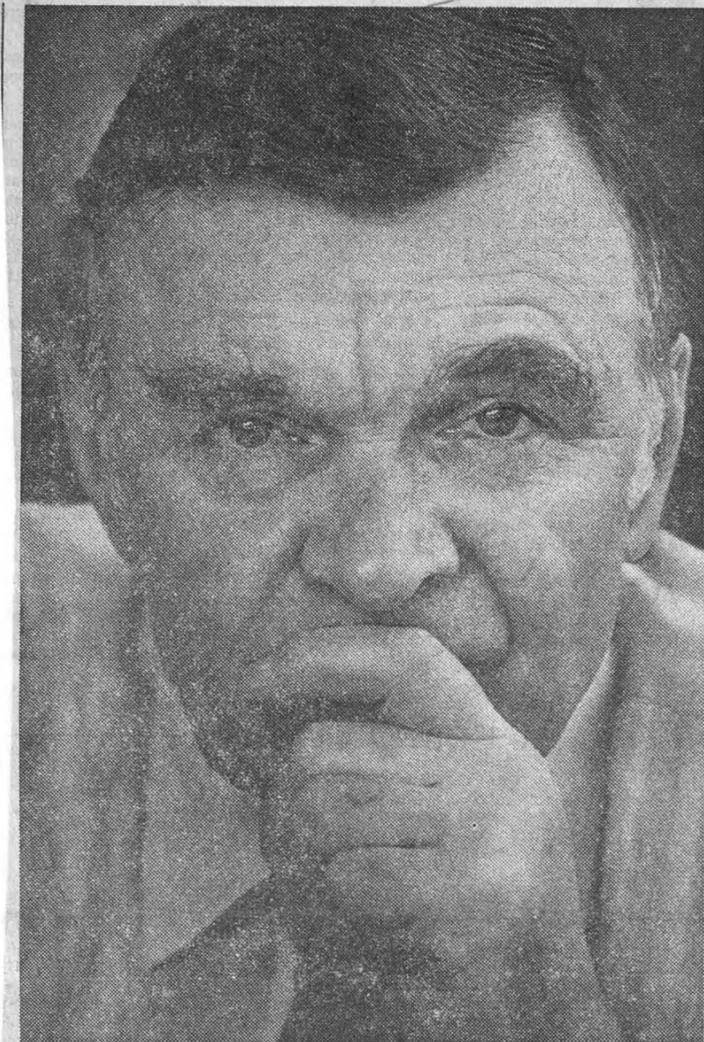
Помню, однажды осенью, безнадежной ночью, когда лил дождь, стучало железо на крыше, мне не спалось. Я просто не могла заснуть от тоски, подступившей к сердцу, от мысли, что все мы, люди, несчастны, не знаем, что делаем, чего хотим, надеемся жить на земле вечно, а жить мне осталось совсем немного. И я вышла на кухню, чтобы покурить, успокоиться. А на кухне горел свет, и здесь я увидела его. Тогда он писал какую-то работу о Канте, работал по ночам и тоже вышел на кухню покурить. Стоял у окна, смотрел на дождь, на стекло в потеках, а когда услышал мои шаги, обернулся, и лицо его показалось таким бледным, старым, беспомощным, морщинами такими усталыми, что я тут же подумала, что он скоро умрет, что он болен, мне стало безумно жаль его, и я сказала, едва сдерживая слезы: «Вот, папа, мы с тобой оба не спим и оба мы с тобой несчастлив». «Несчастливый? — повторил он удивленно и посмотрел на меня, вроде бы ничего не понимая, заморгал своими добрыми глазами. — Что ты, милая! О чем ты?.. Все живы, здоровы, все в сборе в моем доме — вот и я счастлив!» Я всхлинула, а он обнял меня, как маленькую. Чтоб были все вместе — ему больше ничего не нужно было, и он готов был ради этого работать день и ночь. А когда я уезжала к себе на квартиру, постыдную, холодную, они, мать и отец, стояли на лестничной площадке и плакали, и махали, и повторяли мне вслед: «Мы любим тебя, мы

любим тебя...» Как много и мало нужно человеку для счастья, не правда ли?

## Старый рыбак

Мой отец, старый рыбак, в детстве моем голоштанном ни черта не давал мне учиться плавать. Был он неверующим, попов иногда крепко ругал в охотку, особенно когда выпивши, однако перед путиной вот что говорил: «Бог дал всем жизнь, а срок в точности не отсчитал, но каждому рыбаку по своему тайному расписанию существование ограничил, поэтому, ежели лодка тонет, перекрестись и иди на дно вместе с ней, это твой срок пришел, бога не обманешь, на хитрость не возьмешь». Вышло, лежит на берегу, на солнышке подле сетей, шапку на лоб надвинет, тепло он любил, намерзая за жизнь на ветру и воде. Так вот — лежит и вроде дремлет, а мы, ребяташки, в воде полощемся, друг за дружкой санятами бегаем радостно, ягодицами сверкаем. Но как только кто по-собачьи в плавание бросаться начинает, он тут как тут, за уши из воды мокрым шевок вытаскивает и по корме — леща, леща, аж из глаз искры сыплются. Да, неверующий был мой отец, в церковь ни разу не заглянул, а как худо стало, сразу чистое споднее надел, под образа лег и матери приказывает: зови, мол, папа, ежели он трезвый, на последнюю душевную беседу. Мать накидывает платок, вся в слезах бежит за попом, умоляет, с постели стаскивает чуть не в одних подштаниках, приводит его в избу, а отец сидит на лавке, пьет квас, кричат, дует в ковш, усы вытирает и говорит: «Давай, мать, поворачивай назад папа. оклемался я, еще поживу малость». Восемьдесят два года он прожил.

К 60-летию Юрия Бондарева



Один из руководителей Союза писателей РСФСР, лауреат Ленинской премии, депутат Верховного Совета СССР, Юрий Бондарев и сегодня не только писатель: он воин. Как общественный деятель он сражается в великой битве за мир, которая развернулась на планете. Мучительные размышления о будущем Земли, о завтрашнем дне человечества раскрывают нам гуманистическую позицию гражданина и писателя, страстно выступающего против тех сил, что стремятся задержать движение мирового времени.

ЮРИ БОНДАРЕВ:

— Если бы каждый из команды на этом корабле осознал, что впереди смертельный риф и в столкновении с ним бесследно исчезнет, рассыплется в ничто прекрасная его плоть... если бы каждый хотя на минуту задумался о скоротечном веке Земли, люди бы не расхатыкали своей корсбль с борта на борт, не пробовали бы дыры в его дыще дьявольскими силами расщепленной природы, не полосовали бы ножами злости и ненависти с одержимостью самоубийц надутые паруса, забрызгивая их собственной кровью.

Неужели люди никогда не поймут, что Земля должна быть их чистым, светлым белопарусным кораблем, путь которого, к сожалению, не бесконечен?..

Фото П. Кривцова.

Юрий Бондарев

## Север, река Мезень, разговор на берегу

— И кидашь, и кидашь блесну-то свою... Поймал что?

— Нет, бабушка, не везет.

— И хорошо.

— Почему хорошо?

— Семга рыба-то дурная, опасная. Прошлый год на Мезени в лодку она выпрыгнула к Константину Викентьевичу-то. Выпрыгнула вроде бревна, килограммов на двадцать, а Константин Викентьевич обомлел от радости-то: без сети и живца рыбу поймал. У кюстра лежит, цаёк попивает, сахарок откусывает. Как не жизнь-то! Примчивый был. Но через два месяца утонул он. Нашли его сегодняшней год — вода опала, а у берега два сапога вверх торчат, мальцонка увидел. Вытащили его, целенький весь, ве пропал, вроде вчера утонул, но две руки как вроде рыба обьела — как отрубленные... Семга-то, что выпрыгнула в лодку, не проста была, не добра.

— Вообще рыбы мало, бабушка.

— На цё тебе?

— Что «на цё», не понял.

— Рыба-то? Сиди себе, цаёчек, молоко подливай. Рыбы нет, а вот щука есть. И малек. Вон цайки на отмени, видишь? Мальком питаются.

Новые новеллы из цикла «Мгновения». Более полную подборку их печатает в третьей книжке журнал «Новый мир».

— Чайки у нас как-то деклассировались, бабушка, рыбу почти не ловят, ходят на помойках в Архангельске. Или за теплоходом летят, ждут, когда из камбуза отходы в море выбросят. Попрошайки они стали, ленивцы. Что-то нарушилось...

— Ты наших цаек не тронь. Они умные, как медведи.

— И медведи попадают разве?

— Как же не попадаться-то! Гуляют они у нас. Прошлый год он телеша задрал, унес, за ним кинулись люди-то, а он телеша мохом забросал в лесу-то, а сам ходу. Медведь, он что семга, не простой, головой соображает...

## Мадонна Литта

Все проходит через меня и все сливается во мне — майские светлые ночи, июльские ливни, холодок летнего утра, шорох листьев в колесе проселка под сентябрьским ветром, луна над осенним ослепленным лесом, первый падающий снег и вместе с тем фальшивая улыбка, глупость и ум, красота и уродство.

Уже не помню, в каком музее мира я стоял перед «Мадонной Литтой», готовый молитвенно упасть на колени. Да какая разница, в каком музее, в какой стране, в каком году... Все это принадлежит не какой-либо особенной стране, не какой-либо особенной национальности, а всему человечеству.

Да, все происходит через меня, и, быть может, я самый счастливый и самый несчастнейший человек нашего времени.

Я помню, как из жаркого и шумного Рима мы

ехали в провинциальную тишину вместе с писателем Чингизом Айтматовым в электричке, приглашенные на обед итальянским критиком Вигорелли, и здесь, в тесноте, в толпе, я увидел совсем рядом деревенскую мадонну Литту, прекрасную, полную, грудую, синеглазую, пахнущую чесноком, она громко, страстно разговаривала, смеялась со своими подружками — и в этой ничем не прикрытой естественности я чувствовал женщину, которая две тысячи лет назад могла быть (и не была) близкой со мной, родить мне детей, гладить грубой рукой меня по голове, целовать уставшего, пришедшего к очагу пыльным вечером с поля...

Нет, Италия, а не Сахара и пустыни Ливии — колыбель человечества. Мадонна Литта — это мать всех матерей, и у нее на коленях это я, младенец, и не я, а все, кто почитает своих матерей, кто помнит их в последний час, все, кто помнит тепло материнской груди, ласковый испущенный взгляд, обращенный на тебя, взгляд милосердия, любви, прощения, самоотверженности, тоски и счастья, ибо нет ничего равного вселенскому чувству материнства — поэтому я стою, готовый упасть на колени перед этой скромной и вечной красотой мадонны Литты, моей матери, вспоминая и тот вагон электрички, и нашу поездку в загородную квартиру Вигорелли, где огромная гостиния, освещенная во все окна лимонным осенним солнцем, переходила в огромную библиотеку (хорошо, если бы так строились писательские квартиры у нас), вспоминаю наши беседы о красоте мира сего, об уничтожении технократами этой красоты, необходимом человечеству — и вижу в темных глазах жены Вигорелли мягкую доброту, прощение всем нам, оглушавшим во фразах мужчинам, вижу надежду, теплоту мадонны Литты, этой матери сущего.